**Смерть.**

Праслав. \*sъmьrtь наряду с \*mьrtь (в чеш. mrt, род. п. mrti ж. "отмершая часть чего-либо, мертвая ткань на ране, бесплодная земля") родственно лит. mirtis, род. п. miriо м., лит. mirtis, род. п. mirtie~s ж. "смерть" (Даукша), лтш. mir~tе "смерть", др.-инд. mrtis· ж. "смерть", лат. mors, род. п. mortis -- то же, гот. mauґr?r "убийство"; слав. \*sъ-mьrtь следует связывать с др.-инд. su- "хороший, благой", первонач. "благая смерть", т. е. "своя, естественная", далее связано со \*svo- (см. свой). Ср. русск.: умереґть своеґй смеґртью; лит. savо smerсiu° mir~ti.

**Тому, кто сказал Сократу: "Тридцать тиранов осудили тебя на смерть", последний ответил: "А их осудила на смерть природа"**Шахнович М. М. Эпикурейское отношение к смерти и античное прикладное искусство // Сакральное в истории культуры. СПб., ГМИР. 1997

**Эпикурейцы и смерть**

Во второй половине II в. до н.э. эпикуреец **Гай Амафиний**, в отличие от других учителей философии (перипатетиков, академиков и стоиков), преподававших по-гречески, написал **первый философский трактат на латинском языке**. В нем **эпикуреизм преподносился как учение об удовольствии тела** (Cic. Tusc.disp.2, 37, 8; 4, 3, 67).

**Представления об эпикурейском моральном учении** проявились в семантике декора двух серебряных кубков, которые были найдены в 1895 г. при раскопках на вилле близ Боскореале (местечко недалеко от Помпей, разушенное при извержении Везувия в 79 г. н.э.) и находящихся сейчас в Лувре. Эти кубки примечательны тем, что **на них в виде веселящихся скелетов изображены знаменитые мужи Греции**: на одном — Еврипид, Моним (ученик Диогена Синопского), Архилох и Менандр, на другом — Софокл, Мосхион, Зенон-стоик и Эпикур, каждый со своим атрибутом, характеризующим его деятельность или сущность его учения. Кроме того, на кубках есть пояснительные надписи. Еврипид представлен с тирсом, Зенон — с посохом и сумой нищего, Менандр — с факелом, Архилох изображен играющим на флейте. Главным персонажем на этом необычном пиру, несомненно, является **Эпикур, окруженный хороводом больших и маленьких скелетов-символов. Сам философ изображен в виде большого скелета**, правая рука которого тянется к стоящему на треножнике огромному круглому сосуду с каким-то яством, над ним надпись по-гречески: «Конечная цель — удовольствие». У ног Эпикура — свинья. Затем следует стоящий на колонне скелет в женской одежде с надписью — «Клото» (имеется в виду Мойра, прядущая нить жизни). Рядом — «Мудрость» и «Мнимое знание», также в виде скелетов. Следующий скелет «Зависть» держит в одной руке туго набитый кошелек, а в другой бабочку с надписью «душа». Затем следует маленький скелет «Радость», играющий на лире, затем — большой, украшающий свой череп венком из цветов. Перед ним текст, **призывающий брать от жизни все сейчас, ввиду неизвестности будущего**. Другой скелет аплодирует этому изречению. Завершает этот *dance* ***macabre* скелет, держащий в руке свой собственный череп и разглядывающий его. Ироническая надпись гласит, что когда-то это была голова цветущего здоровьем и красотой человека**. Серебряные кубки из Боскореале с изображениями скелетов — чудесные образцы александрийского декоративно-прикладного искусства. Вероятно, использование изображений мертвеца или скелета, символизирующих скоротечность жизни и одновременно призывающих к наслаждению, пришло в Рим из Александрии, соединившей античную и восточную культуры.

Семантика изображений понятна **— смерть уносит все: богатство и мудрость, бедность и глупость, красоту и радость, уравнивает богача, поэта, философа и нищего**. А поэтому, **помня о неминуемом конце, необходимо стремиться к наслаждению, к удовольствиям тела, не упуская ни единой минуты быстротечной жизни. Традиционно** считается, что в образах этих скелетов «прочитывается кодекс эпикурейской мудрости».

О распространении в среде богатых и невежественных выходцев из низов идущего, скорее всего, от Амафиния вульгаризированного понимания учения Эпикура свидетельствует **текст из «Сатирикона» Петрония**. Перед началом пира в доме богатого вольноотпущенника Тримальхиона раб вносит в пиршественный зал серебряный скелет, устроенный так, что его сгибы и позвонки свободно двигались во все стороны, и когда его бросали на стол, он, благодаря подвижному сцеплению суставов, принимал разнообразные позы. Глядя на скелет, Тримальхион патетически воскликнул:

«Горе нам, беднякам! О сколь человечишко жалок!  
Станем мы все таковы, едва только Орк нас похитит,  
Будем же жить хорошо, други, покуда умрем».

Позволим высказать предположение, что традиция сопровождать пиры разглядыванием скелетов, рассуждениями о смерти и призывами пользоваться каждым моментом жизни как последним, была вопринята римлянами из Египта, наряду с некоторыми другими элементами египетской культуры. Именно там существовал описанный еще Геродотом обычай: «На пиршествах у людей богатых после угощения один человек обносит кругом деревянное изображение покойника, лежащего в гробу. Изображение представляет собой расписную фигуру величиной в один или два локтя с чертами покойника. Каждому сотрапезнику показывают эту фигуру со словами: “Смотри на него, пей и наслаждайся жизнью. После смерти ведь ты будешь таким”» (Hist. II, 78) .

## Мишель Монтень

# ОПЫТЫ

## КНИГА ПЕРВАЯ

Глава XX

## О ТОМ, ЧТО ФИЛОСОФСТВОВАТЬ - ЭТО ЗНАЧИТ УЧИТЬСЯ УМИРАТЬ

**http://www.krotov.info/library/13\_m/on/1\_20.html**

Цицерон говорит, что **философствовать - это не что иное, как приуготовлять себя к смерти** [1]. И это тем более верно, ибо **исследование и размышление влекут нашу душу за пределы нашего бренного "я", отрывают ее от тела, а это и есть некое предвосхищение и подобие смерти**; короче говоря, **вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся, в конечном итоге, к тому, чтобы научить нас не бояться смерти**. Неизвестно, где поджидает нас смерть; так будем же ожидать ее всюду. Размышлять о смерти - значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь - не зло.

Мы рождаемся для деятельности:

Cum moriar, medium solvar et inter opus.

{Я хочу, чтобы смерть застигла меня посреди трудов [28] (лат).}

Я хочу, чтобы люди действовали, чтобы они как можно лучше выполняли налагаемые на них жизнью обязанности, чтобы смерть застигла меня за посадкой капусты, но я желаю сохранить полное равнодушие и к ней, и, тем более, к моему не до конца возделанному огороду.

Если смерть - быстрая и насильственная, у нас нет времени исполниться страхом пред нею; если же она не такова, то, насколько я мог заметить, втягиваясь понемногу в болезнь, я вместе с тем начинаю естественно проникаться известным пренебрежением к жизни. Я нахожу, что обрести решимость умереть, когда я здоров, гораздо труднее, чем тогда, когда меня треплет лихорадка. Поскольку радости жизни не влекут меня больше с такою силою, как прежде, ибо я перестаю пользоваться ими и получать от них удовольствие, - я смотрю и на смерть менее испуганными глазами. Это вселяет в меня надежду, что чем дальше отойду я от жизни и чем ближе подойду к смерти, тем легче мне будет свыкнуться с мыслью, что одна неизбежно сменит другую. Убедившись на многих примерах в справедливости замечания Цезаря, утверждавшего, что издалека вещи кажутся нам нередко значительно большими, чем вблизи, я подобным образом обнаружил, что, будучи совершенно здоровым, я гораздо больше боялся болезней, чем тогда, когда они давали знать о себе: бодрость, радость жизни и ощущение собственного здоровья заставляют меня представлять себе противоположное состояние настолько отличным от того, в котором я пребываю, что я намного преувеличиваю в своем воображении неприятности, доставляемые болезнями, и считаю их более тягостными, чем оказывается в действительности, когда они настигают меня. Надеюсь, что и со смертью дело будет обстоять не иначе.

Ничто не влекло людей к нашей религии более, чем заложенное в ней презрение к жизни. И не только голос разума призывает нас к этому, говоря: стоит ля бояться потерять нечто такое, потеря чего уже не сможет вызвать в нас сожаления? - но и такое соображение: раз нам угрожают столь многие виды смерти, не тягостнее ли страшиться их всех, чем претерпеть какой-либо один? И раз смерть неизбежна, не все ли равно, когда она явится?

Подобно тому как наше рождение принесло для нас рождение всего окружающего, так и смерть наша будет смертью всего окружающего. Поэтому столь же нелепо оплакивать, что через сотню лет нас не будет в живых, как то, что мы не жили за сто лет перед этим. Смерть одного есть начало жизни другого. Точно так же плакали мы, таких же усилий стоило нам вступить в эту жизнь, и так же, вступая в нее, срывали мы с себя свою прежнюю оболочку.

Раз смерть - обязательное условие вашего возникновения, неотъемлемая часть вас самих, то значит, вы стремитесь бежать от самих себя. Ваше бытие, которым вы наслаждаетесь, одной своей половиной принадлежит жизни, другой - смерти. В день своего рождения вы в такой же мере начинаете жить, как умирать: Nascentes morimur, finisque ab origine pendet. («Рождаясь, мы умираем; конец обусловлен началом»).

Жизнь сама по себе - ни благо, ни зло: она вместилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее. И если вы прожили один-единственный день, вы видели уже все. Каждый день таков же, как все прочие дни. Нет ни другого света, ни другой тьмы. Это солнце, эта луна, эти звезды, это устройство вселенной - все это то же, от чего вкусили пращуры ваши и что взрастит ваших потомков: Non alium videre: patres aliumve nepotes Aspicient («Это то, что видели наши отцы, это то, что будут видеть потомки»).

Освободите место другим, как другие освободили его для вас. Равенство есть первый шаг к справедливости. Кто может жаловаться на то, что он обречен, если все другие тоже обречены? Сколько бы вы ни жили, вам не сократить того срока, в течение которого вы пребудете мертвыми. Все усилия здесь бесцельны: вы будете пребывать в том состоянии, которое внушает вам такой ужас, столько же времени, как если бы вы умерли на руках кормилицы: licet, quod vis, vivendo vincere saecla, Mors aeterna tamen nihilominus illa manebit («Можно побеждать, сколько угодно, жизнью века, - все равно тебе предстоит вечная смерть»).

Никто не умирает прежде своего часа. То время, что останется после вас, не более ваше, чем то, что протекало до вашего рождения; и ваше дело тут – сторона. Где бы ни окончилась ваша жизнь, там ей и конец. Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы использовали ее: иной прожил долго, да пожил мало, не мешкайте, пока пребываете здесь. Ваша воля, а не количество прожитых лет определяет продолжительность вашей жизни. Неужели вы думали, что никогда так и не доберетесь туда, куда идете, не останавливаясь? Да есть ли такая дорога, у которой не было бы конца? И если вы можете найти утешение в доброй компании, то не идет ли весь мир той же стязею, что вы?

**АРИЕС, Арьес (Aries) Филипп -** Человек перед лицом смерти. М., 1992; L&Enfant et la vie familiale dans 1&ancien regime. P., 1973; Un historien du dimanche. P., 1980; Le temps de l&histoire. P., 1986. **(**1914 -1984) - франц. историк и социальный философ, специалист по исторической демографии. Руководитель группы в Школе высших исследований социальных наук. С 1975 организатор (вместе с Фуко и Ж.Л. Фландреном) международных семинаров по **исторической антропологии**. **Задачу "экзистенциальной истории**" он усматривает в обращении к основным составляющим человеческого существования. Основываясь на результатах исследований Леви-Строса, введшего в социальную **науку понятия "холодного" и "горячего" обществ,** в которых время течет по-разному, и выводах Ф. Броделя **о сосуществовании в европейской истории различных жизненных ритмов** (в частности, многовековой устойчивости коллективных стереотипов сознания, представлений и мыслительных навыков, свойственных сельским жителям), А. разрабатывал **историю изменения ментальности, или обыденных восприятий, свойственных широким народным массам**.

Ментальность — социально-психологические установки, способы восприятия, манера чувствовать и думать. Ментальность выражает повседневный облик коллективного сознания, не отрефлектированного и не систематизированного. Неосознанность или неполная осознанность — один из важных признаков ментальности. В этой особенности ментальности заключена огромная ее познавательная ценность. На этом уровне удается расслышать такое, о чем нельзя узнать на уровне сознательных высказываний. Круг знаний о человеке в истории, о его представлениях и чувствах, верованиях и страхах, о его поведении и жизненных ценностях резко расширяется, делается более многомерным и глубже выражающим специфику исторической реальности. Ментальности, как правило, изменяются исподволь и очень медленно, и эти неприметные для самих участников исторического процесса смещения могут стать предметом изучения лишь при условии, что он применит к ним большой временной масштаб.

Этим объясняется его **повышенное внимание к нетрадиционным источникам** - завещаниям, проповедям, брачным контрактам, святцам и эпитафиям. Социальную историю А. понимал в первую очередь как **психоисторию**, как ряд прогрессирующих этапов индивидуализации и рефлексии. Тем не менее импульсом развития его мысли было продуктивное сомнение в большей ценности достижений современности по сравнению с прошлыми эпохами. В кн. "**Ребенок и семейная жизнь при старом режиме"** (1973; http://ec-dejavu.ru/c/Childhood.html) А. и утверждает, что **понимание ребенка как существа привилегированного, обладающего особым, отличным от взрослых мировосприятием, зародилось лишь в XV-XVI веках**. В Средние века на него смотрели как на **"маленького взрослого" и оценивали поступки по "взрослой шкале".** Семья не была базисной социальной группой, и с раннего возраста гильдии, корпорации были для ребенка главными институтами социализации.

В **работе «Человек перед лицом смерти»** (“*L’Homme devant la mort”,* 1977; М.: «Прогресс» — «Прогресс-Академия», 1992. - http://www.krotov.info/history/18/general/e\_0.htm) Ф. Ариес уделяет **анализу истории восприятия смерти**. Он описывает его как **форму эволюции коллективного бессознательного**.

Начальный этап эволюции, восходящий к архаической стадии, Ариес характеризует как **«прирученную смерть».** До XII в. смерть **воспринимали как сон, который длится до конца времен**, поэтому кладбища располагали на территории населенных пунктов и **страх перед покойниками отсутствовал**. Человек органично включен в природу, и между мертвыми и живыми существует гармония. Поэтому «прирученная смерть» была вместе с тем смертью, которую принимают в качестве естественной неизбежности. Так относится к смерти рыцарь Роланд, но так же фаталистически ее принимает и русский крестьянин из повести Льва Толстого. Смерть не осознавали как личную драму и вообще не воспринимали в качестве индивидуального по преимуществу акта — в ритуалах, которые окружали и сопровождали кончину, выражалась, солидарность индивида с семьей и обществом. Эти ритуалы были частью общей стратегии человека в отношении к природе.

**Ариес в большей мере опирается на памятники изобразительного искусства, чем на произведения письменности**. К каким просчетам приводит подобное обращение с материалом, свидетельствует хотя бы такой факт. На основе одного изолированного памятника — рельефа на саркофаге св. Агильберта (около 680 г., Жуарр, Франция), изображающего Христа и воскресение мертвых, Ариес делает далеко идущий вывод о том, что **в раннее средневековье якобы еще не существовало идеи посмертного воздаяния: Страшный суд здесь, как он утверждает, не изображен.**

Да, в это же время **существуют** проповеди, нравоучительные «примеры», агиография и многочисленные **повествования о хождениях душ умерших по загробному миру**, о видениях его теми, кто умер лишь на время и возвратился затем к жизни, дабы поведать окружающим о **наградах и карах, ожидающих каждого на том свете** (видения потустороннего мира Григорием Великим, Григорием Турским, Бонифацием, Бэдой Почтенным и другими церковными авторами VI-VIII вв.). Согласно этой расхожей литературе, хорошо известной уже в VI—VIII вв., в мире ином отнюдь не царит сон,— в одних отсеках его пылает адское пламя и бесы мучают грешников, а в других святые наслаждаются лицезрением Творца.

Но, в действительности, **души после смерти испытывают муки или радость лишь от самого ожидания Судного дня**, как писал Тертуллиан; видимо, предполагалось, что приговор уже вынесен. Точно так же Августин утверждал, что в то время как тела умерших покоятся в могилах, души праведников пребывают в лоне Авраамовом, а души неправедных мучаются apud inferos. Однако **Страшный Суд невозможен без воплощения, которое наступит после Второго пришествия и воскресения мертвых.**

В XII в. **начинает господствовать, ранее находящаяся на периферии религиозности «Хождения в ад»;**.)**, идея Страшного суда – первоначально как суда над всем человечеством**, а затем, примерно с XV в., представление о суде над всем родом человеческим сменяется представлением о суде индивидуальном, который происходит в момент кончины человека. В эту эпоху **страх смерти становится особенно острым,— он имел как психобиологические, «экзистенциальные» корни, так и религиозные**, и никто из умирающих не мог быть уверен в том, что избежит мук ада.

Этот переход объясняется **ростом индивидуального сознания,** испытывающего потребность связать воедино все фрагменты человеческого существования, до того разъединенные состоянием летаргии неопределенной длительности, которая отделяет время земной жизни индивида от времени завершения его биографии в момент грядущего Страшного суда**. В своей смерти человек открывает собственную индивидуальность**. Происходит «открытие индивида, осознание в час смерти или в мысли о смерти своей собственной идентичности, личной истории, как в этом мире, так и в мире ином». Характерная для **средневековья анонимность погребений постепенно изживается, и вновь, как и в античности, возникают эпитафии и надгробные изображения умерших**.

**Третий этап эволюции восприятия смерти (эпоха Просвещения) — «смерть далекая и близкая».** Он характеризуется, по Арьесу, **крахом механизмов защиты от природы**. И к сексу, и к смерти возвращается их дикая, неукрощенная, не смиренная ритуалами сущность. Символом этой эпохи для учёного становится маркиз де Сад.

В XVII в. **создаются новые кладбища, расположенные вне городской черты**,— близость живых и мертвых, ранее не внушавшая сомнений, отныне оказывается нестерпимой, равно как и вид трупа, скелета, который был существенным компонентом искусства в период расцвета жанра «пляски смерти» в конце средневековья.

Но в этот период человек находит **средство «колонизовать», освоить потусторонний мир и манипулировать им. Завещание** дает ему возможность обеспечить собственное благополучие на том свете и примирить любовь к земным богатствам с заботой о спасении души. Не случайно как раз во второй период **средневековья возникает представление о чистилище,** отсеке загробного мира, занимающем промежуточное положение между адом и раем.

В XVIII в., когда "**цивилизация инстинктов" сменилась "цивилизацией объектов", когда стал иным характер семьи (образцовым сделался брак по любви), изменилось и отношение к смерти близкого человека**. **Четвёртый этап многовековой эволюции в переживании смерти — «смерть твоя»** (эпоха романтизма). Эту тенденцию ученый связывает с изменившимся в Новое время характером семьи, ее эмоциональной ролью. С падением уровня смертности, наметившимся в этот период, внезапная кончина ребенка, молодого человека в расцвете сил должна была переживаться острее, чем в более ранние времена, характеризовавшиеся низкой средней продолжительностью жизни и чрезвычайно высокой детской смертностью.Романтизм открыл социально-психологическое явление, названное Ариесом **«твоя смерть»;** человек особенно **драматично воспринимает и переживает уход из жизни близкого, любимого существа, кончина которого представляется ему более тягостной утратой, нежели его собственная смерть**. С ослаблением веры в загробные кары меняется отношение к смерти; её ждут как момента воссоединения с любимым существом, ранее ушедшим из жизни. Романтизм способствует превращению страха смерти в чувство прекрасного.

**Пятый этап, названный Арьесом «смерть перевёрнутая»**, характерен для XX века, когда **общество вытесняет смерть из коллективного сознания, ведёт себя так, как будто её не существует, как будто вообще никто не умирает, и смерть индивида не пробивает никакой бреши в структуре общества**. В наиболее индустриализованных странах Запада кончина человека обставлена так, что она становится делом одних только врачей и предпринимателей, занятых похоронным бизнесом.

Ариес отмечает, что один из основных экзистенциалов (смерть, страх, свобода, одиночество, вера, надежда, любовь) всегда должен выступать в виде табу, но в ходе истории они меняются местами. Так, **вытеснение из коллективного бессознательного смерти достигло максимума в XX в., когда сексуальность оттеснила смерть в область табу**. В этом Ариес видит черты тотальной технизации современности **и протестует против забвения смерти, ведущего, по его мнению, к разрушению человечности**.

Ф. Арьес задавался вопросом**, почему менялось отношение к смерти**. По его мнению, восприятие смерти европейцами определяли **четыре параметра**:

* индивидуальное самосознание;
* защитные механизмы против неконтролируемых сил природы, постоянно угрожающих социальному порядку (наиболее опасные силы — секс и смерть);
* вера в загробное существование;
* вера в тесную связь между злом и грехом, страданием и смертью, образующая базис мифа о «падении» человека.

Эти «переменные» вступают между собой в различные сочетания, сложно меняющиеся в ходе истории.

**Путь, пройденный Западом от архаической «прирученной смерти»,** близкой знакомой человека, **к «медикализованной» «извращенной» смерти наших** дней, **«смерти запретной»,** отражает **коренные сдвиги в стратегии общества, бессознательно применяемой в отношении к природе**. В этом процессе общество берет на вооружение, актуализирует те идеи из имеющегося в его распоряжении фонда, которые соответствуют неосознанным его потребностям на данном этапе.  
  
Таким образом, существует связь между установками в отношении к смерти, доминирующими в данном обществе на определенном этапе его развития, и самосознанием, личности, типичной для этого общества. Поэтому в изменении восприятия смерти находят свое выражение сдвиги в трактовке человеком самого» себя.

## Зигмунд Фрейд

# МЫ И СМЕРТЬ

http://www.krotov.info/library/21\_f/re/freud\_01.html

Почтенные председательствующие и дорогие братья!

Прошу вас, не думайте, что я дал своему докладу столь зловещее название в приступе озорства. Я знаю, что многие люди ничего не желают слышать о смерти, быть может, есть такие и среди вас, и я ни в коем случае не хотел заманивать их на собрание, где им придется промучиться целый час. Кроме того, я мог бы изменить и вторую часть названия. Мой доклад мог бы называться не "Мы и смерть", а "Мы, евреи, и смерть", поскольку то отношение к смерти, о котором я хочу с вами поговорить, проявляем чаще всего и ярче всего именно мы, евреи.

Между тем вы легко вообразите, что привело меня к выбору этой темы. Это череда ужасных войн, свирепствующих в наше время и лишающих нас ориентации в жизни. Я подметил, как мне кажется, что среди воздействующих на нас и сбивающих нас с толку моментов первое место занимает изменение нашего отношения к смерти.

 Каково ныне наше отношение к смерти? По-моему, оно достойно удивления. В целом мы ведем себя так, как если бы хотели элиминировать смерть из жизни; мы, так сказать, пытаемся хранить на ее счет гробовое молчание; мы думаем о ней - как о смерти!

 Разумеется, мы не можем следовать этой тенденции беспрепятственно. Ведь смерть то и дело напоминает о себе. И тут мы испытываем глубокое потрясение, словно нечто необычайное внезапно опрокинуло нашу безопасность. Мы говорим: "Ужасно!!" - когда разбивается отважный летчик или альпинист, когда во время пожара на фабрике гибнут двадцать молоденьких работниц или даже когда идет ко дну корабль с несколькими сотнями пассажиров на борту. Особенное впечатление производит на нас смерть кого-нибудь из наших знакомых; если умирает известный нам Н. или его брат, мы даже участвуем в похоронах. Но никто бы не мог заключить, исходя из нашего поведения, что мы признаем смерть неизбежной и твердо убеждены в том, что каждый из нас обречен природой на смерть. Наоборот, всякий раз мы находим объяснение, сводящее эту неизбежность к случайности. Один умер, потому что заболел инфекционным воспалением легких - никакой неизбежности в этом не было; другой уже давно тяжело болел, только не знал об этом; третий же был очень стар и дряхл. Когда речь заходит о ком-нибудь из нас, евреев, можно подумать, будто ни один еврей вообще никогда не умирал от естественных причин. На худой конец, его залечил доктор, иначе он жил бы и поныне. Мы, правда, допускаем, что рано или поздно всем придется умереть, но это "рано или поздно" мы умеем отодвигать в необозримую даль. Когда у еврея спрашивают, сколько ему лет, он бодро отвечает: "До ста двадцати осталось лет этак шестьдесят!" Психоаналитическая школа, которую я, как вам известно, представляю, смеет утверждать, что мы - каждый из нас - в глубине души не верим в собственную смерть. Мы просто не в силах ее себе представить. При всех попытках вообразить, как все будет после нашей смерти, кто будет нас оплакивать и т.д., мы можем заметить, что сами, собственно говоря, продолжаем присутствовать при этом в качестве наблюдателей. И впрямь, трудно отдельному человеку проникнуться убеждением в собственной смертности. Когда он получает возможность проделать решающий опыт, он уже недоступен любым доводам.

Только черствый или злой человек рассчитывает на смерть другого или думает о ней. Мягкие, добрые люди, такие, как мы с вами, сопротивляются подобным мыслям, особенно если смерть другого человека может принести нам выгоду - свободу, положение, обеспеченность. А если все-таки случилось так, что этот другой умер, мы восхищаемся им чуть ли не как героем, совершившим нечто из ряда вон выходящее. Если мы враждовали, то теперь мы с ним примиряемся, перестаем его критиковать. О мертвых следует говорить хорошее или ничего не говорить, и мы с удовольствием допускаем, чтобы на его надгробии начертали малодостоверную хвалебную эпитафию. Но когда смерть настигает дорогого нам человека - кого-нибудь из родителей, мужа или жену, брата, сестру, ребенка, друга - мы оказываемся совершенно беззащитны. Мы хороним с ним наши надежды, притязания, радости, отвергаем утешения и не желаем замены утраченному. Мы ведем себя как люди из рода Азра, умирающие вместе с любимыми.

Однако подобное отношение к смерти накладывает глубокий отпечаток на нашу жизнь. Она обедняется, тускнеет. Наши эмоциональные связи, невыносимая интенсивность нашей скорби делают из нас трусов, склонных избегать опасности, грозящей нам или нашим близким. Мы не осмеливаемся затевать некоторые, в сущности, необходимые предприятия, такие, как воздушные полеты, экспедиции в дальние страны, опыты со взрывчатыми веществами. Нас при этом гнетет мысль о том, кто заменит матери сына, жене мужа, детям отца, если произойдет несчастный случай, - а между тем все эти предприятия необходимы. Вы знаете девиз Ганзы: "Navigare necesse est, vivere non necesse" ("Плавать мы обязаны, жить не обязаны"). Сравните его с еврейским анекдотом: мальчик упал со стремянки, и мать бежит за советом и помощью к раввину. "Объясните мне, - спрашивает раввин, - как еврейский мальчик попал на стремянку?"

Я говорю, что жизнь теряет содержательность и интерес, когда из жизненной борьбы исключена наивысшая ставка, то есть сама жизнь. Она становится пустой и пресной, как американский флирт, при котором заранее известно, что ничего не должно случиться, в отличие от любовных отношений в Европе, при которых обоим партнерам приходится помнить о постоянно подстерегающей их опасности. Нам необходимо чем-то вознаградить себя за это оскудение жизни, и вот мы обращаемся к миру воображаемого, к литературе, театру. На сцене мы находим людей, которые еще умеют умирать, да к тому же умереть могут только другие. Здесь мы удовлетворяем свое желание видеть саму жизнь, ставшую значительной ставкой в жизни, причем не для нас, а для другого. Собственно, мы бы ничуть не возражали против смерти, если бы она не полагала конец жизни, которая дается нам только один раз. Все-таки слишком это жестоко, что в жизни с нами может случиться то же, что в шахматной партии: один-единственный неверный ход может вынудить нас к признанию своего проигрыша, с тем, однако, отличием, что отыграться в следующей партии нам не удастся. В области вымысла мы находим то разнообразие жизней, в котором испытываем потребность. Мы умираем с одним из героев, но все-таки переживаем его, а при случае умираем еще раз с другим героем без малейшего для себя ущерба. Что же меняет ныне война в этом нашем отношении к смерти? Очень многое. Наш договор со смертью, как я бы его назвал, перестает соблюдаться так, как прежде. Мы уже не можем упускать смерть из виду, нам приходится в нее поверить. Теперь люди умирают по-настоящему, и не единицы, а во множестве, подчас десятки тысяч в день. К тому же теперь это уже не случайность. Правда, может показаться, будто пуля случайно поражает одного и минует другого, но нагромождение смертей быстро кладет конец этому ощущению случайности. Зато жизнь, разумеется, снова становится интереснее, к ней возвращается полностью все ее содержание.

Здесь следовало бы разделить людей на две категории: тех, что сами участвуют в войне и рискуют собственными жизнями, следует отличать от других, которые остались дома и которым приходится только опасаться утраты близких, рискующих умереть от раны или болезни. Крайне интересно было бы, если бы мы обладали возможностью исследовать, какие душевные изменения влечет за собой у воюющих готовность к самопожертвованию. Но я об этом ничего не знаю; я, как и вы все, принадлежу ко второй группе, к тем, которые остались дома и дрожат за дорогих им людей. По моему впечатлению, та апатия, тот паралич воли, что присущ мне так же, как другим людям, находящимся в том же положении, что я, определяются в большей степени тем обстоятельством, что мы более не в силах поддерживать прежнее отношение к смерти, а нового взгляда на нее еще не нашли. Быть может, нашей с вами переориентации будет способствовать попытка сопоставить два разных отношения к смерти - то, которое мы вправе приписать древнему человеку, человеку первобытных времен, и другое, то, что сохраняется в каждом из нас, но незаметно для нашего сознания таится в глубочайших пластах нашей душевной жизни.

До сих пор я не сказал вам, дорогие братья, ничего такого, чего бы вы не могли знать и чувствовать так же хорошо, как я. А теперь мне выпадает возможность сказать вам нечто, о чем вы, быть может, не знаете, а также нечто другое, что наверняка вызовет у вас недоверие. Мне придется с этим смириться.

Итак, каким же образом относился к смерти первобытный человек? Его отношение к смерти было весьма примечательно и лишено какой бы то ни было цельности, но скорее даже противоречиво. Однако впоследствии мы поймем причину этой противоречивости. Человек, с одной стороны, принимал смерть всерьез, признавал ее уничтожением жизни и в этом смысле пользовался ею, но, с другой стороны, отвергал ее, начисто ее отрицал. Почему это возможно? Потому, что к смерти другого, чужака, врага он относился в корне иначе, чем к собственной смерти. Смерть другого не вызывала у него возражений, он воспринимал ее как уничтожение и жаждал ее достичь. Первобытный человек был страстным существом, свирепым и коварным, как звери. Никакой инстинкт, имеющийся, по общему мнению, у большинства диких зверей, не препятствовал ему убивать и разрывать на куски существо своей же породы. Он убивал охотно и не ведая сомнений.

Древняя история человечества также полна убийств. И сегодня древняя история в том виде, как ее изучают наши дети в школе, представляет собой, в сущности, череду геноцидов. Смутное ощущение вины, изначально присущее человечеству, во многих религиях воплотившееся в признание исконной виновности, первородного греха, представляет собой, по всей видимости, память о преступлении, за которое несут ответственность первобытные люди. Из христианского вероучения мы еще можем вынести догадку о том, в чем состояло это преступление. Если сын Божий принес свою жизнь в жертву, чтобы искупить первородный грех человечества, то, согласно закону талиона, предписывающему воздаяние мерой за меру, этим грехом было убийство, умерщвление. Только оно могло потребовать в качестве возмездия такой жертвы, как жизнь. А поскольку первородный грех был виной перед Богом-отцом, значит, наидревнейшим преступлением человечества было, по всей видимости, умерщвление прародителя кочующим племенем первобытных людей, в памяти которых образ убитого позже преобразился в божество. В своей книге "Тотем и табу" (1913) я постарался собрать аргументы в пользу такого понимания изначальной вины.

Впрочем, разрешите мне заметить, что учение о первородном грехе не изобретено христианством, а представляет собой часть древнейших верований, которая долгое время сохранялась в подземных течениях разных религий. Иудаизм тщательно отодвинул в сторону эти смутные воспоминания человечества, и, быть может, именно поэтому он лишился права быть мировой религией.

Давайте же вернемся к первобытному человеку с его отношением к смерти. Мы слышали, как он относился к смерти чужака. Его собственная смерть была для него точно так же невообразима и неправдоподобна, как ныне для любого из нас. Однако для него был возможен случай, когда оба противоположных представления о смерти смыкались и вступали между собой в конфликт, и этот случай имел огромное значение и был чреват далеко идущими последствиями. Речь идет о случае, когда первобытный человек видел, как умирает кто-то из его близких - жена, ребенок, друг - которых он любил совсем так же, как мы любим своих близких, потому что любовь - чувство ничуть не менее древнее, чем кровожадность. Так он убеждался на опыте, что человек может умереть, потому что каждый из тех, кого он любил, был частицей его "Я", но, с другой стороны, в каждом из этих любимых была и частица ему чуждая. Согласно законам психологии, которые верны и поныне, а в первобытные времена власть их распространялась еще шире, чем теперь, эти любимые оказывались одновременно также и чужаками, врагами, вызывавшими также и враждебные чувства.

Философы утверждают, что интеллектуальная загадка, которую картина смерти загадывала первобытному человеку, понуждала его к размышлению и становилась отправной точкой любого его умозрительного рассуждения. Я бы хотел поправить и ограничить этот постулат. Не интеллектуальная загадка и не каждый случай смерти, но конфликт чувств в виде смерти любимого и при этом все же чужого и ненавистного человека раскрепостил человеческую пытливость. Много позже из этого конфликта чувств родилась психология. Первобытный человек уже не мог оспаривать смерть, в своем горе он отчасти узнал на собственном опыте, что это такое, но вместе с тем он не хотел ее признавать, потому что не мог вообразить умершим самого себя. Тогда он пошел на компромисс: он допускал смерть, но отрицал, что она есть то самое уничтожение жизни, которого он мысленно желал своим врагам. Над телом любимого существа он выдумывал духов, воображал разложение индивидуума на плоть и душу - первоначально не одну, а несколько. Вспоминая об умерших, он создавал себе представление об иных формах существования, для которых смерть - это лишь начало, он создавал себе понятие загробной жизни после мнимой смерти. Это дальнейшее существование было поначалу лишь расплывчатой, бессодержательной и пренебрегаемой добавкой к тому, которое завершалось смертью, оно еще носило черты убогости. Позвольте мне привести вам слова, в которых наш великий поэт Генрих Гейне - впрочем, в полном соответствии со стариком Гомером - заставляет мертвого Ахилла выразить свое пренебрежительное отношение к существованию мертвых.

Любой ничтожнейший мещанин,   
Живущий среди родных равнин, -   
И тот блаженней стократ,   
Чем я, усопший герой великий,   
Что в царстве мертвых зовусь владыкой.

И только позже религии удалось придать этому посмертному существованию достоинство и полноценность, а жизнь, завершаемую смертью, низвести всего-навсего до подготовки к нему. Затем, со всей последовательностью, жизнь была продолжена и в сторону прошлого: были придуманы предыдущие существования, второе рождение и переселение душ, и все это преследовало цель лишить смерть ее значения, состоявшего в отмене жизни. Весьма примечательно, что наше Священное писание не приняло в расчет этой потребности человека в гарантии его предсуществования. Напротив, там сказано, что Бога славит только живой. Я предполагаю - а вы безусловно знаете об этом больше, чем я, - что иудейская религия и литература, базирующаяся на Ветхом завете, по-другому относилась к учению о бессмертии. Но я бы хотел отметить и этот пункт в ряду прочих, воспрепятствовавших иудаизму заменить другие древние религии после их упадка.

У тела умершего любимого человека зародились не только представления о душе и вера в бессмертие, но и осознание вины, страх перед смертью и первые этические требования. Осознание вины произошло из двойственного чувства по отношению к покойнику, страх смерти - из идентификации с ним. Такая идентификация с точки зрения логики кажется непоследовательностью, поскольку ведь неверие в собственную смерть не было устранено. В разрешении этого противоречия мы, современные люди, также не продвинулись дальше. Древнейшее требование этики, возникшее тогда, но важное и теперь, гласило: "Не убивай". Первоначально оно касалось любимого человека, но постепенно распространилось на нелюбимых, чужих, а в конце концов и на врага.

Теперь я хотел бы поведать вам об одном странном факте. В некотором смысле первобытный человек сохранился доныне и предстает нам в облике примитивного дикаря, который недалеко ушел от первобытных людей. Теперь вам естественно будет предположить, что этот дикий австралиец, житель Огненной Земли, бушмен и т.д., убивает без всякого раскаяния. Но вы заблуждаетесь, дикарь в этом отношении чувствительней цивилизованного человека, во всяком случае до тех пор, пока его не коснется влияние цивилизации. После успешного завершения свирепствующей ныне мировой войны победоносные немецкие солдаты поспешат домой, к женам и детям, и их не будет удерживать и тревожить мысль о врагах, которых они убили в рукопашном бою или дальнобойным оружием. Но дикарь-победитель, возвращающийся домой с тропы войны, не может вступить в свое селение и увидеть жену, пока не искупит совершенных им на войне убийств покаянием, подчас долгим и трудным. Вы скажете: "Да, дикарь еще суеверен, он боится мести со стороны духов убитых". Но духи убитых врагов есть не что иное, как выражение его нечистой совести по причине содеянного им кровопролития.

Позвольте мне еще немного задержаться на этом древнейшем требовании этики: "Не убивай". Его древность и категоричность позволяют нам прийти к одному важному выводу. Было выдвинуто утверждение, что инстинктивное отвращение перед пролитием крови коренится глубоко в нашей натуре. Набожные души охотно этому верят. Теперь мы с легкостью можем проверить это утверждение. Ведь мы располагаем прекрасными примерами такого инстинктивного, врожденного отвращения.

Давайте вообразим, что мы с вами находимся на юге на прекрасном курорте. Там разбит виноградник с отменным виноградом. В этом винограднике попадаются также и змеи, толстые черные змеи, в сущности, вполне безобидные создания, их еще называют змеями Эскулапа. В винограднике развешаны таблички. Мы читаем одну из них - на ней написано: "Отдыхающим строго запрещается брать в рот голову или хвост змеи Эскулапа". Не правда ли, вы скажете: "В высшей степени бессмысленный и излишний запрет. И без него такое никому в голову не придет". Вы правы. Но мы читаем еще одну такую табличку, предупреждающую, что срывать виноград запрещается. Этот запрет скорее покажется нам оправданным. Нет уж, давайте не будем заблуждаться. У нас нет никакого инстинктивного отвращения перед пролитием крови. Мы потомки бесконечно длинной череды поколений убийц. Страсть к убийству у нас в крови, и, вероятно, скоро мы отыщем ее не только там.

Оставим теперь первобытного человека и обратимся к нашей собственной душевной жизни. Как вы, вероятно, знаете, мы владеем определенным методом исследования, с помощью которого мы можем обнаружить, что происходит в глубинных пластах души, скрытых от сознания, - это своего рода глубинная психология. Итак, мы спрашиваем: "Как относится к проблеме смерти наше бессознательное?" И тут выясняется такое, чему вы не поверите, хотя для вас это также не является новостью, поскольку недавно я вам это уже описывал. Наше бессознательное относится к смерти в точности так же, как относился к ней первобытный человек. В этом плане, как и во многих других, в нас по-прежнему жив первобытный человек в его неизменном виде. Итак, бессознательное в нас не верит в собственную смерть. Оно вынуждено вести себя так, будто мы бессмертны. Быть может, именно в этом кроется тайна героизма. Правда, рациональным обоснованием героизма является мнение, что собственная жизнь может быть не так дорога человеку, как некоторые другие всеобщие и абстрактные ценности. Но, по-моему, чаще мы встречаемся с импульсивным или инстинктивным героизмом, который проявляет себя таким образом, словно черпает уверенность в известном кличе саперов: "Ничего с тобой не случится!" - и заключается, по сути, в том, чтобы сохранить веру бессознательного в бессмертие. Страх смерти, которым мы страдаем чаще, чем нам кажется, являет собой нелогичное противоречие этой уверенности. Впрочем, чаще он имеет не столь древний источник и происходит по большей части от чувства вины.

С другой стороны, мы признаем смерть чужаков и врагов и прочим им смерть, подобно первобытному человеку. Разница лишь в том, что мы не в самом деле насылаем на них смерть, а только думаем об этом и желаем этого. Но когда вы согласитесь с существованием этой так называемой психической реальности, вы сможете сказать: "В нашем бессознательном все мы и поныне - банда убийц. В тайных наших мыслях мы устраняем всех, кто стоит у нас на пути, всех, кто нас огорчает или обижает. Пожелание "Черт бы его побрал!", которое, являясь безобиднейшим междометием, так часто вертится у нас на языке, в сущности, означает: "Смерть бы его побрала!" - и наше бессознательное вкладывает в него мощный и серьезный смысл. Наше бессознательное карает смертью даже за пустяки; как древнее афинское законодательство Дракона, оно признает смерть как единственную меру наказания преступника, из чего следует определенный вывод: каждый ущерб нашему всемогущему и самовластному "Я" является, в сущности, crimen laesae majestatis. Хорошо еще, что все эти свирепые желания не наделены никакой силой. Иначе род людской уже давно бы прекратился, и не уцелел бы никто - ни самые лучшие и мудрые из мужчин, ни самые прекрасные и очаровательные из женщин. Нет, не будем заблуждаться на этот счет, мы по-прежнему те же убийцы, какими были наши предки в первобытные времена.

Я могу рассказать вам об этом совершенно спокойно, потому что знаю, что вы мне все равно не поверите. Вы больше доверяете своему сознанию, отвергающему подобные предположения как клевету. Но я не могу удержаться и не напомнить вам о поэтах и мыслителях, которые понятия не имели о психоанализе, а между тем утверждали нечто подобное. Вот только один пример! Ж.Ж. Руссо в одной из своих книг обрывает рассуждения, чтобы обратиться к читателю с необычным вопросом: "Представьте себе, - говорит он, - что в Пекине находится некий мандарин (а Пекин был тогда еще дальше от Парижа, чем теперь), чья кончина могла бы доставить вам большую выгоду, и вы можете его убить, не покидая Парижа, и, разумеется, так, что никто не узнает о вашем поступке, простым усилием воли. Уверены ли вы, что не сделаете этого?" Что ж, я не сомневаюсь, что среди собравшихся здесь почтенных братьев многие с полным основанием могут утверждать, что они бы этого не сделали. Но, в общем, не хотел бы я быть на месте того мандарина и думаю, что ни одна страховая компания не заключила бы с ним договор о страховании жизни.

Ту же неприятную истину я могу высказать вам в другой форме, так что она даже доставит вам удовольствие. Я знаю, все вы любите слушать шутки и остроты, и надеюсь, вас не слишком заботит вопрос, на чем основано удовольствие, получаемое нами от таких шуток. Есть категории шуток, называемых циничными, причем они относятся далеко не к самым худшим и не к самым плоским. Открою вам, что тайну таких шуток составляет искусство так подать скрытую или отрицаемую истину, которая сама по себе звучала бы оскорбительно, чтобы она могла даже порадовать нас. Такие формальные приемы понуждают вас к смеху, ваше заранее заготовленное мнение оказывается обезоружено, а потому истина, которой вы в ином случае оказали бы отпор, украдкой проникает в вас. Например, вам знакома история про человека, к которому в присутствии компании знакомых вручили траурное извещение, а он, не читая, сунул листок в карман. "Разве вы не хотите знать, кто умер?" - спрашивают у него. "Ах, какая разница, - гласит ответ, - в любом случае у меня нет возражений". Или другая, про мужа, который, обращаясь к жене, говорит: "Если один из нас умрет, я перееду в Париж". Это циничные шутки, и они бы не были возможны, если бы в них не сообщалась отрицаемая истина. Как известно, в шутку можно даже говорить правду.

Дорогие братья1 Вот еще одно полное совпадение между первобытным человеком и нашим бессознательным. И тут, и там возможен такой случай, когда оба устремления, одно - признать смерть уничтожением, а другое - отрицать ее существование, сталкиваются и вступают в конфликт. И случай этот для нашего бессознательного тот же, что и у первобытного человека: смерть или смертельная опасность, грозящая любимому человеку - кому-нибудь из родителей, супругу, брату или сестре, детям или близким друзьям. Эти любимые люди, с одной стороны, внутренне принадлежат нам, входят в состав нашего "Я", но, с другой стороны, они отчасти и чужие нам, то есть враги. Самым сердечным, самым задушевным нашим отношениям, за исключением очень немногих ситуаций, всегда присуща крошечная доля враждебности, дающая толчок бессознательному пожеланию смерти. Но из конфликта обоих стремлений уже рождается не понятие о душе и не этика, а невроз, который позволяет нам глубже познакомиться и с нормальной душевной жизнью. Изобилие преувеличенно нежной заботы между членами семьи покойного и совершенно беспочвенные упреки, которыми они сами себя осыпают, открывают нам глаза на распространенность и важность этого глубоко запрятанного пожелания смерти. Не хочу далее рисовать вам эту оборотную сторону картины. Скорее всего, вы бы ужаснулись, и ужаснулись не напрасно. Природа и здесь устроила все тоньше, чем это сделали бы мы. Нам бы наверняка в голову не пришло, что такое соединение любви с ненавистью может послужить к нашей же пользе. Однако пока природа работает с таким противоречием, она заставляет нас все время будоражить нашу любовь и подновлять ее, чтобы защитить ее от таящейся за нею ненависти. Можно сказать, что прекраснейшие проявления любви существуют благодаря реакции против жала страсти к убийству, которое мы ощущаем у себя в груди.

Подведем итог: наше бессознательное так же недоступно для представления о собственной смерти, так же кровожадно по отношению к чужим, так же двойственно (амбивалентно) по отношению к любимым людям, как первобытный человек. Но как же далеко ушли мы с нашей культурной точкой зрения на смерть от первобытного состояния!

А теперь давайте мы с вами еще раз посмотрим, что делает с нами [война](http://www.krotov.info/spravki/history_temy/03_v/voyna.html). Она смывает с нас позднейшие культурные наслоения и вновь выпускает на свет живущего в нас первобытного человека. Она снова заставляет нас быть героями, не желающими верить в собственную смерть, она указывает нам, что чужаки - наши враги, чьей смерти надо добиваться или желать, она советует нам переступать через смерть тех, кого мы любим. Таким образом, она колеблет наши культурные договоры со смертью. Однако войну упразднить невозможно. Покуда не исчезнут столь огромные различия в условиях существования разных народов и не прекратится столь сильное отталкивание между ними, до тех пор будут и войны. Но возникает вопрос: не следует ли нам уступить и поддаться им? Не следует ли нам признать, что мы с нашим культурным отношением к смерти психологически жили выше, чем нам положено, и должны поскорее повернуть обратно, смириться с истиной? Не лучше ли было бы вернуть смерти в действительности и в наших мыслях то место, которое ей принадлежит, и понемногу извлечь на свет наше бессознательное отношение к смерти, которое до сих пор мы так тщательно подавляли? Я не могу призывать вас к этому как к высшей цели, поскольку прежде всего это было бы шагом назад, регрессией. Но наверняка она способствовала бы тому, чтобы сделать для нас жизнь более сносной, а ведь нести бремя жизни - долг всех живущих. В школе мы слышали политическое изречение древних римлян, гласившее "Si vis pacem, para bellum". Хочешь мира - готовься к войне. Мы можем изменить его сообразно нашим нынешним потребностям: "Si vis vitam, para morten". Если хочешь вынести жизнь, готовься к смерти.

ХАЙДЕГГЕР И СМЕРТЬ

**БЫТИЕ К СМЕРТИ** (Sein zum Tode) – один из основных [***экзистенциалов***](http://iph.ras.ru/elib/3504.html)М*.*Хайдеггера (***«Бытие и время»***,§ 46–53, слл), обнаруживающий онтологическое измерение человека (Dasein) и показывающий его целостность и временной характер. Адекватное осознание феномена смерти – условие перехода к подлинному (а не безличному) модусу существования человека (Dasein). Смерть носит «личный» характер, она – всегда «моя», никем не может быть со мной «разделена», «никто не может отнять у другого его смерть». Смерть – это то, что не выбрано нами, мы брошены в наше «бытие к смерти». Брошенность открывается нам в настроении ужаса, который в отличие от [***страха***](http://iph.ras.ru/elib/2853.html)не имеет «объекта» и ставит нас перед самими собою, а не перед чем-то другим. В повседневной жизни человек «забывает» про смерть, вытесняет ее из жизни, превращая в объект, которого следует бояться, окружая его обрядами и ритуалами, или стремится избегать ситуаций, которые могут к смерти привести. Смерть других «людей» является для нас опытом утраты, однако утраты в нашем Dasein, в пределах нашего бытия-в-мире, смерть недоступна для нас как потеря нашего собственного Dasein (человеку доступен только опыт смерти других людей). В повседневном существовании «очевидность» и несомненность смерти не ставится под сомнение, однако воспринимается как «эмпирическая». Человек релятивирует значение этого феномена с помощью временной неопределенности («я когда-нибудь умру»). Между тем формула аутентичного сознания смерти – «я умру»: смерть следует рассматривать не как реальное событие в будущем, но лишь как будущую возможность. Поскольку условия и обстоятельства смерти недоступны рефлексии (смерть принципиально непредставима), важно не то, что человек думает о самом событии смерти, но то, какое она может иметь значение для «полноты» жизни, понимания человеком своих бытийных возможностей.

Смерть, по Хайдеггеру, дает возможность целостного видения нашего бытия, которое, пока мы живем, никогда не является «целым» и «завершенным», в нем реализованы не все его возможности (в т. ч. и главная – смерть): в Dasein всегда присутствует его «еще-не», что-то, что еще не случилось. Нет необходимости достигать конца, чтобы осознать свое бытие-к-пределу, «бытие к смерти»: сознание того, что я умру, дает мне достаточную перспективу тотальности. Подлинное отношение к этому пределу возможно лишь в «забегании», «заступании вперед» (Vorlaufen) – не в приближении или ускорении этого предела, характерного для пассивного «ожидания» (Erwarten) того или иного события, но в признании смерти как предельной, наиболее всеохватывающей возможности Dasein. Думать о смерти как о реальном событии в будущем – значит ждать ее как «уже не бытие возможного» и, следовательно, отвлекаться от «возможности быть». Если же «предвосхищать» смерть как возможность «не быть», то это неминуемо обращает нас к «возможности быть»: знать, что я могу не быть, предполагает знание того, что я могу (и как я могу) быть. Человек не свободен от смерти как от актуального реального события, но свободен понимать свою возможность быть или не быть (подлинный модус существования), а также свободен не понимать ее как возможность (неподлинный модус).

# Хайдеггер и смерть

[*Игорь Батура*](http://www.proza.ru/avtor/igorbatura)

Известный интерес представляет особенное внимание, которое ранний Хайдеггер уделяет **феномену смерти**. Возникает ощущение, что, поняв ту роль, которую «смерть» приобрела внутри систематики «Бытия и времени», можно понять и сокровенную «суть» самой этой  системы.  
  
Прежде всего, заметим, что философия вовсе и не призвана «тематизировать» смерть. **С точки зрения философии, отношение к смерти само по себе является психологической проблемой, как бы дублирующей подлинные проблемы философии**. Момент смерти, предвосхищаемый в будущем, не является «выделенным» моментом. Любой из  д а н н ы х  моментов «жизни» содержит в себе всё, что интересует философию. Проблема «конечности» чистого сознания также не имеет отношения к «проблеме смерти**». Тезис: «Философствовать – значит учиться умирать» означает: «философствовать – значит учиться понимать такие вещи, само понимание которых способно изменить  в  т о м  ч и с л е  и отношение человека к смерти».**  
Однако же Хайдеггеру феномен смерти потребовался в явном виде. Для чего бы?  
  
Выделим следующий момент**. «Смерть» может пониматься человеком лишь постольку, поскольку он  у ж е  рассматривает себя в качестве части «объективного» мира.** Лишь после того, как сознание «увидело» самоё себя в своём мире как некое психологическое «явление», воплощённое в конечном физическом теле, – оно способно заключить: «я смертно». Это необходимое «априори» или «окружность» самой по себе «проблемы смерти». Более того, можно заметить, что и в дальнейшем основная «проблема смерти» гнездится не в сфере личностного восприятия смерти, а в сфере человеческих взаимоотношений. **Человеку гораздо легче умереть, нежели усваивать собственную смерть «объективно».** В этом последнем обстоятельстве заключается подлинное **«обмирщение» человека.**  
И если Хайдеггер специально выделяет **«бытие-к-смерти» в качестве главного структурирующего «экзистенциала» чистого присутствия,** что же за представление должен был он составить о «виновнике торжества», точке отсчёта любого философского вопрошания?

# С. Субхаш Чандра, «Феномен смерти в мышлении Хайдеггера и в учении Будды»

<http://anthropology.ru/ru/texts/stavtseva/heideast_18.html>

Олег Гуцуляк: Габриэль Онорэ Марсель - Путь к Свету

<http://primordial.org.ua/archives/1142>

*Бурханов А. Р. Экзистенциал надежды в теистической философии Габриэля Марселя [Текст] / А. Р. Бурханов // Молодой ученый. — 2011. — №5. Т.1. — С. 240-245.*

http://www.moluch.ru/archive/28/3158/